ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ

БАБЕЛЬ

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ
КОНАРМИЯ

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие поколения.

русская классика

Эксклюзив: Русская классика

Исаак Бабель

Одесские рассказы. Конармия

«Издательство АСТ»
1913-1924

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бабель И. Э.

Одесские рассказы. Конармия / И. Э. Бабель — «Издательство АСТ», 1913-1924 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-148045-5

В этот сборник вошли известный цикл рассказов Бабеля «Конармия» и его бессмертные, разобранные на цитаты «Одесские рассказы». В конармейском цикле автор страстно и правдиво рассказывает о Гражданской войне, о «стихии революции», где нашлось место победам и поражениям, великодушию и жестокости. «Одесские рассказы» – ироничные истории о неунывающих бандитах с Молдаванки и их неотразимом предводителе Бене Крике. Бабель мастерски изображает воров, налетчиков и контрабандистов в рождении, любви и смерти. Низкое и высокое, духовное и плотское в этой прозе существуют нераздельно, как и сама жизнь, описанная живым, экспрессивным языком.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-148045-5

© Бабель И. Э., 1913-1924
© Издательство АСТ, 1913-1924

Содержание

Одесские рассказы 6
Король 6
Как это делалось в одессе 10
Отец 15
Любка Казак 20
Рассказы 1913–1924 24
Старый Шлойме 24
Детство. У бабушки 26
Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна 30
Мама, Римма и Алла 33
Публичная библиотека 38
Девять 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Исаак Бабель
Одесские рассказы. Конармия

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

© И.Э. Бабель, наследники, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2022

Одесские рассказы

Король

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами – заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

– Слушайте, Король, – сказал молодой человек, – я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой…

– Ну, хорошо, – ответил Беня Крик, по прозвищу Король, – что это за пара слов?

– В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана…

– Я знал об этом позавчера, – ответил Беня Крик. – Дальше.

– Пристав собрал участок и сказал участку речь…

– Новая метла чисто метет, – ответил Беня Крик. – Он хочет облаву. Дальше…

– А когда будет облава, вы знаете, Король?

– Она будет завтра.

– Король, она будет сегодня.

– Кто сказал тебе это, мальчик?

– Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

– Я знаю тетю Хану. Дальше.

– Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, – сказал он, – потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву…»

– Дальше.

– Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже…

– Ну, иди, – ответил Король.

– Что сказать тете Хане за облаву?

– Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, – написал он, – *положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, – двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».*

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью – девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, – тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

– Что с этого будет, Беня?

– Если у меня не будет денег – у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

– Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, – в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума – Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

– Слушайте, Эйхбаум, – сказал ему Король, – когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции… И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум…

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш – ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

– Беня, – сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, – Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…

– Папаша, – ответил Король пьяному отцу, – пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

– Мине нарушают праздник, – кричал он, полный отчаяния, – дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

– Король, – сказал он, – я имею вам сказать пару слов…

– Ну, говори, – ответил Король, – ты всегда имеешь в запасе пару слов…

– Король, – произнес неизвестный молодой человек и захихикал, – это прямо смешно, участок горит, как свечка…

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

– Маня, вы не на работе, – заметил ей Беня, – холоднокровней, Маня…

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

– Они вышли с участка человек сорок, – рассказывал он, двигая челюстями, – и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хотите…

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав – та самая метла, что чисто метет, – стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

– Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, – сказал он сочувственно. – Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

– Ай-ай-ай…

……..

А когда Беня вернулся домой – во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

Как это делалось в одессе

Начал я.

– Реб Арье-Лейб, – сказал я старику, – поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков – разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

– Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот – забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он – Бенчик – пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

– Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

– Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

– Попробуй меня, Фроим, – ответил Беня, – и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

– Перестанем размазывать кашу, – ответил Грач, – я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

– Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? – спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

– Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

– Если так, – воскликнул покойный Левка, – тогда попробуем его на Тартаковском.

– Попробуем его на Тартаковском, – решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять

налетов, а именно девять. На долю Бени, который еще не был тогда Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

– Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой… и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам

Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, – Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

– Руки вверх! – сказали они и стали махать пистолетами.

– Работай спокойнее, Соломон, – заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, – не имей эту привычку быть нервным на работе, – и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

– «Полтора жида» в заводе?

– Их нет в заводе, – ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

– Кто будет здесь наконец за хозяина? – стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

– Я здесь буду за хозяина, – сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

– Тогда отчини нам, с Божьей помощью, кассу! – приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

– Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, – говорил Беня о Тартаковском, – так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, – пусть бы он сказал, – так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил. Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

– Я вас понял, – сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

– Го-гу-го, – закричал еврей Савка, – прости меня, Бенчик, я опоздал, – и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, – и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую- нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

– Тикать с конторы! – крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

– Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним…

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов.

– Я имею интерес, – сказал он, – чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай – Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату – давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

– Где начинается полиция, – вопил он, – и где кончается Беня?

– Полиция кончается там, где начинается Беня, – отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

– Хулиганская морда, – прокричал он, увидя гостя, – бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял – убивать живых людей…

– Мосье Тартаковский, – ответил ему Беня Крик тихим голосом, – вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, – в какой несгораемый шкаф упрятали вы

стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

– Десять тысяч единовременно, – заревел он, – десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль…

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

– Тетя Песя, – сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, – если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, – живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына…

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями – присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

– Что хотите вы делать, молодой человек? – подбежал к нему Кофман из погребального братства.

– Я хочу сказать речь, – ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

– Господа и дамы, – сказал Беня Крик, – господа и дамы, – сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. – Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса…

И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида – поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, – это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб – так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

– Король, – глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

Отец

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей…

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

– Почтение, Грач, – сказал Иван Пятирубель, – какая-то женщина колотится до твоего помещения…

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

– Папаша, – сказала женщина оглушительным басом, – меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день… Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

– Не крутись перед конями, – закричал он в отчаянии, – бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь…

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

– У вас невыносимый грязь, папаша, – сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, – но я выведу этот грязь! – прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии – они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из свое- корыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных под-

рядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

– Папаша, – сказала она громовым голосом, – посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки…

– Эге, пани Грач, – прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, – я вижу, дите ваше просится на травку…

– Вот морока на мою голову, – ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, – жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

– Рыжий вор, – кричала она ему по вечерам, – рыжий вор, идите вечерять…

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу.

– Каждая девушка, – сказала она ему, – имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни…

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз – красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел.

– Добрый день, мосье Грач, – сказал он и отодвинулся. – Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это – редкость…

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

– Я простой человек, без хитростей, – сказал Фроим, – я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, – кому этого мало, пусть тот горит огнем…

– Зачем нам гореть? – ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. – Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но… но мадам Каплун… есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам Бог не узнает, чего она хочет…

– А я знаю, – прервал лавочника Грач, – я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня…

– Да, я не хочу вас, – прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, – я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик и мы должны держаться нашей бранжи…

– Держитесь вашей бранжи, – ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

– Рыжий вор, – сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, – отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

– Баська, – произнес Грач, – Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня… Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора…

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо…

– Почтение, Грач, – сказал он, – если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться…

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

– Вот, – сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, – вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач… Халваш, – закричал Евзель умирающему и захохотал, – вот идет доктор лечить тебя…

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья – старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

– Старый хвастун, – пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

– Говори, – крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

– Мадам Любка, – ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, – вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, – сначала на Бога, потом на вас.

– Говори, – закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

– В колониях, – сказал он, – немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт… Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым… Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один Бог на небе.

– Беня Крик, – сказала тогда Любка, – ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

– Беня Крик? – повторил Грач, полный удивления. – И он холостой, мне сдается?

– Он холостой, – сказала Любка, – окрути его с Баськой, дай ему денег, – выведи его в люди…

– Беня Крик, – повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, – я не подумал о нем…

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

– Наш жених у Катюши, – сказала Любка Грачу, – подожди меня в коридоре, – и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

– Довольно слюни пускать, – сказала хозяйка молодому человеку, – сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать… Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его…

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

– Я подумаю, – ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, – я подумаю, пусть старик обождет меня.

– Обожди его, – сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, – обожди его, он подумает…

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к

полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел не двигаясь у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

– Человек, – сказал он, – неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл наконец двери Катюшиной комнаты.

– Мосье Грач, – сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, – когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего…

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости – Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

– Я возьму это на себя, папаша, – сказал он будущему своему тестю, – Бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков…

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, – и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это – судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи – решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

Любка Казак

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего – Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них – история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

– Вот, – сказал Евзель, – вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

– Вот, – сказал сторож, – ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с Божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

– Каторжанин, – ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, – ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в Бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев – сначала из Египта и потом из пустыни…

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

– Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, – сказал Цудечкис Песе-Миндл, – вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску…

– Дайте вы ему соску, – ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, – если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге…

– Да, – сказал тогда самому себе маленький маклер, – ты у фараона в руках, Цудечкис, – и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

– А-а-а, – запел он, – вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи… А-а-а, вот всем детям кулаки…

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

– Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка…

– Цыть, мурло, – ответила Любка старику и слезла с седла, – кто это разевает там рот в моем окне?

– Это Цудечкис, тертый старик, – ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

– Какая нахальства, – завизжал он и швырнул вниз ермолку, – какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года… Идите дайте ему цицю…

– Вот я иду к тебе, аферист, – пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

– Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока…

– Какое там молоко, – закричала женщина и надавила грудь, – когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, – отдайте лучше шесть рублей…

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

– Дависъ, арестантка, – сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

– Прочь, галота! – крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая

цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

– Смотрите, какой хорошо грамотный, – сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, – последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко…

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

– Ратуйте, люди! – закричал он и помахал руками.

– Цыть, мурло! – захохотала Любка. – Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

– Мисс Любка, – сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, – много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка…

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» – они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

– Как вы замучили нас, бессовестная Любка, – сказал он и взял ребенка из люльки, – но вот учитесь у меня, паскудная мать…

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

– Что вы колдуете надо мной, старый плут? – пробормотала Любка, засыпая.

– Молчать, паскудная мать! – ответил ей Цудечкис. – Молчать и учитесь, чтоб вы пропали…

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

– Вот, – сказал Цудечкис и засмеялся, – я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали…

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

– Ну, хорошо, – сказала тогда Любка, – открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку…

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бен Захарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

Рассказы 1913–1924

Старый Шлойме

Хотя наш городок и невелик, хотя все жители в нем наперечет, хотя Шлойме прожил в городке 60 лет безвыездно, но все-таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому, что его просто забыли, как забывают ненужную, не попадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме. Ему было 86 лет. Глаза его слезились; лицо, маленькое, грязное, морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался, редко менял платье, и от него дурно пахло; сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой, запрятали в теплый угол и забыли о нем. Теплый угол и еда – вот что осталось у Шлойме, и, казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые, изломанные кости, скушать хороший кусок жирного, сочного мяса было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый; жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще, еще хоть один маленький кусочек. На Шлойме было противно смотреть в то время, когда он ел: вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, лицо такое жалкое, полное страшной боязни, чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка подшучивала над Шлойме: за столом она как будто случайно обходила его; старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным, беззубым ртом; он хотел доказать, что для него не важно кушанье, что он и так обойдется, но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках чувствовалась такая просьба, эта с таким трудом скорченная улыбка быта так жалка, что шутки забывались и старый Шлойме получал свою порцию.

Так и жил он в своем углу – ел и спал, а летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось, давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее, и только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил с Шлойме, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойме быт очень доволен, когда однажды после ужина сын подошел к нему и громко крикнул на ухо: «Папаша, нас выселяют отсюда, слышите, выселяют, гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойме медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный сюртук, ничего не ответил и побрел спать.

С этого дня Шлойме начал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын быт расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию. Невестка кричала визгливым голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала, горько, с надрывом плакала.

У Шлойме нашлось теперь занятие – он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. «Их гонят отсюда!» Шлойме знал, за что их гонят. «Но ведь он не может уехать! Ему 86 лет; он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро… Нет, Шлойме никуда не уйдет. Ему некуда идти, совсем некуда». Шлойме забился в свой угол, и ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать, погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. «Он вырос здесь, прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище». В минуты таких дум Шлойме неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но… он так давно ни с кем не говорил, никому ничего не советовал. И слова застывали в беззубом рте, поднятая рука бессильно опускалась. Шлойме, весь съежив-

шись, как бы застыдившись своего порыва, угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорит сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика, и пара маленьких глаз с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывала. Один раз слово было произнесено слишком громко: невестка забыла, что Шлойме еще не умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойме. Колеблющимися шагами, грязный и всклокоченный, он медленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора, несколько раз покачал головой, и впервые за много-много лет слезы выкатились из его глаз. Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка… Шлойме хотел обогреться. Ему сделалось холодно.

С той поры Шлойме ни о чем другом не думал. Он знал одно: сын его хотел уйти от своего народа, к новому богу. Старая, забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойме никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем, навсегда уйти от своего Бога, Бога униженного и страдающего народа – этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове, туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно стояли перед ним: «Нельзя этого, нельзя!» И когда понял Шлойме, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, старый Шлойме, что тебе теперь делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими, старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. «Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что ж? Шлойме расскажет Богу, как его обидели, Бог ведь есть, Бог примет его». В этом Шлойме был уверен.

Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по-стариковски охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно… Все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, взобрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет безвыездно, и повис…

Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую Тору.

Детство. У бабушки

По субботам я возвращался домой поздно, после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его; чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки; люблю потому, что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно неповторимо мечтателен.

Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей.

Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился.

Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от а до ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами. Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ!» Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался.

Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната, в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь: бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо, хотелось вырваться, хотелось на волю.

Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой пятнадцатилетний собачий век, и любила нас, – это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история.

Итак, нас было трое – я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день быт тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен был прийти г. Сор[окин], учитель музыки, и г. Л., учитель

еврейского языка, отдавать пропущенный урок и пот[ом], м[ожет] б[ыть], Peysson[1], учитель французского языка, и уроки приходилось приготовлять. С Л. я справился бы, мы были старые знакомые, но музыка, гаммы – какая тоска! Сначала я принялся за уроки. Разложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, Боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу – они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык.

Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой. Но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка, она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел «богатырь» – так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги, я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось, ясные слова, описания, разговоры, но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижима, и даже жаркий одуряющий воздух стоял не шевелясь, точно чувствовал, что я занимаюсь, нельзя мне мешать. Жару в комнате все прибавлялось. Стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо, призрачно тихо, не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь, и удар хлыстом, и этот пронзительный свист – только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня. Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сор[окин]. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную визгливую музыку. Надо признать, этот Сор[окин] был славный малый, носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи холодно и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были не интересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам, и только. Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате, перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую, морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул.

Я выдержал и следующий час – урок господина Л., дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь.

Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор – глубокую клетку – ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «Отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой; темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошлась по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах забле-

[1] Пейссон (*фр.*).

стел пот. «Хочешь спать?» – спросила она. Я ответил: «Нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Рабби, мне досаждает комиссар до смерти. Просите за меня Бога». – «Иди с миром, – сказал ему цадик. – Комиссар успокоится». Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым с багровым вздутым лицом.

Бабушка замолчала. Самовар гудел. Соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахала хвостом. Она быта голодна.

– В старину люди верили, – промолвила бабушка. – Было проще жить на свете. Когда я была девушкой – взбунтовались поляки. Возле нас был графский майонтек. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по семеро суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окна. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание. Пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старику хотели завязать глаза. Он сказал «не надо», стал против солдат и скомандовал: «пали». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование.

Самовар потухал. Бабушка выпила последний, холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахару.

– Твой дед, – заговорила она, – знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом.

И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь, он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет.

– Учись, – вдруг говорит она с силой, – учись, ты добьешься всего – богатства и славы. Ты должен знать все. Все будут падать и унижаться перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям. Не имей друзей. Не отдавай им денег. Не отдавай им сердца.

Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжко – навеки – ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую <голову?>.

В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон, наймичка, – гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. – Я здесь хозяйка. Ты добро уничтожаешь. Вон». Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди», – сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты.

Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, и куда они смотрят – я не знаю. После ужина она…[2]

[2] Фраза обрывается. Заключительный абзац написан на отдельном листке.

Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко, сплю молодо за семью печатями в бабушкиной жаркой комнате.

Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать – значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

– Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

– Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

– Куда же мы? В гостиницу?

– Мне надо на всю ночь, – ответил Гершкович, – к тебе.

– Это будет стоить трешницу, папаша.

– Два, – сказал Гершкович.

– Расчета нет, папаша…

……

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку… и подмигнула.

– Э, – поморщился Гершкович, – какое глупство.

– Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

– Ниврокo, – сказал Гершкович, – пудов пять в вас будет?

– Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

..…….

– Э, – снова поморщился Гершкович, – я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

– Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

– Нет.

– Папашка, – медленно промолвила проститутка, – это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

– Пятерку, – сказала женщина.

Гершкович вернулся.

– Постели мне, – устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. – Как тебя зовут?

– Маргарита.

– Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной.

Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

– Как тебя зовут, папашка?

– Эли, Элья Исаакович.

– Торгуешь?

– Наша торговля… – неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла…

– Нивроко, – сказал Гершкович. – Откормилась.

Скоро они заснули.

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

– У нас море, у вас поле, – сказал он. – Хорошо.

– Ты откуда? – спросила Маргарита.

– Из Одессы, – ответил Гершкович. – Первый город, хороший город. – И он хитро улыбнулся.

– Тебе, я вижу, везде хорошо, – сказала Маргарита.

– И правда, – ответил Гершкович. – Везде хорошо, где люди есть.

– Какой ты дурак, – промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. – Люди злые.

– Нет, – сказал Гершкович, – люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.

Маргарита подумала, потом улыбнулась.

– Ты занятный, – медленно проговорила она и внимательно оглядела его.

– Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

– Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться.

Уходя, Гершкович сказал:

– Возьмите три рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

– Жи́ла ты, жи́ла. Давай три. Придешь вечером?

– Приду.

Вечером Гершкович принес ужин – селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

– Полсотней в месяц не обойдешься, – говорила Маргарита. – Занятия такая, что дешевкой оденешься – щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет…

– У нас в Одессе, – подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части, – за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

– Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься…

– Каждый человек имеет свои неприятности, – промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

– Вы, нивроко, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пана.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

– Привет в Одессу, – сказала она, – привет…

– Спасибо, – ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

– До свидания, Маргарита Прокофьевна.

– До свиданья, Элья Исаакович.

Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

Мама, Римма и Алла

С самого утра день выдался хлопотливый.

Накануне раскапризничалась и ушла прислуга. Варваре Степановне пришлось все делать самой. Во-вторых, рано утром прислали счет на электричество. В-третьих, квартиранты, братья Растохины, студенты, предъявили совершенно неожиданную претензию. Ночью ими была якобы получена из Калуги телеграмма о том, что отец их болен и необходимо к нему выехать. Поэтому они освобождают комнату и просят возвратить им 60 рублей, выданные Варваре Степановне заимообразно.

Варвара Степановна на это ответила, что странно освобождать комнату в апреле, когда никто ее снимать не станет, и что деньги она затрудняется возвратить, потому что они были даны ей не заимообразно, а в виде платы за помещение, платы, выданной, правда, вперед.

Растохины с Варварой Степановной не согласились. Разговор принял замедленный и недружелюбный характер. Студенты были упрямые и недоумевающие остолопы в длиннополых и чистеньких сюртуках. Им показалось, что плакали их денежки. Старший предложил тогда, чтобы Варвара Степановна заложила у них свой буфет из столовой и трюмо.

Варвара Степановна побагровела и возразила, что она не позволит разговаривать с собой в таком тоне, что предложение растохинское совершеннейшая дичь, что законы она знает, муж ее членом окружного суда на Камчатке и прочее. Младший Растохин, вспылив, ответил, что наплевать им с высокого дерева на то, что муж ее членом окружного суда на Камчатке, что если попадет к ней копейка, то ее уж когтями не выдерешь, что пребывание свое у Варвары Степановны – весь этот сумбур, грязь, бестолковщину – они никогда не забудут и что окружной суд на Камчатке далеко, а мировой судья на Москве близко…

Так эта беседа и окончилась. Растохины ушли надутые, злобно-тупые, а Варвара Степановна направилась в кухню варить кофе другому своему квартиранту, студенту Станиславу Мархоцкому. Из комнаты его уж несколько минут доносились резкие и длительные звонки.

Варвара Степановна стояла в кухне перед спиртовой машинкой, на толстом носу ее было разъехавшееся от старости никелевое пенсне, седоватые волосы растрепались, утренняя розовая кофта была в пятнах. Она варила кофе и думала, что никогда эти мальчишки не разговаривали бы с ней в таком тоне, если бы не вечный недостаток в деньгах, если бы не эта несчастная необходимость перехватывать, прятаться и хитрить.

Когда кофе и яичница Мархоцкого были готовы, она отнесла завтрак ему в комнату.

Мархоцкий был поляк – высокий, костлявый, беловолосый, с холеными ногтями и длинными ногами. В то утро на нем была домашняя щегольская серая куртка с брандебурами.

Встречена была Варвара Степановна с неудовольствием.

– Мне надоело, – сказал он, – то, что никогда нет прислуги, приходится звонить по часу и опаздывать на лекции…

Прислуги действительно часто не бывало, и звонил Мархоцкий подолгу, но на этот раз причина его неудовольствия была в другом.

Накануне вечером он сидел с Риммой, старшей дочерью Варвары Степановны, на диване в гостиной. Варвара Степановна видела, как они поцеловались раза три и в темноте обнимались. Сидели они до одиннадцати, затем до двенадцати, потом Станислав положил голову на грудь Риммы и заснул. Кто в молодости не дремал в углу дивана на груди случайно встретившейся на жизненном пути гимназисточки? Худа в этом большого нет, последствий часто тоже не бывает, но все же надо считаться с окружающими, с тем, что девочке, может быть, в гимназию на следующее утро надо.

Только в половине второго Варвара Степановна довольно кисло заявила, что пора бы и честь знать. Мархоцкий, исполненный польского гонора, поджал губы и обиделся. Римма метнула на мать негодующий взгляд.

Тем дело и обошлось. Но Станислав, очевидно, и на следующее утро помнил об этом. Варвара Степановна подала ему завтрак, посолила яичницу и вышла.

Было 11 часов утра. Варвара Степановна открыла в комнате дочерей шторы. Легкие, блестящие лучи нежаркого солнца легли на грязноватый пол, на разбросанную повсюду одежду, на запыленную этажерку.

Девушки уже проснулись. Старшая, Римма, была худенькая, маленькая, быстроглазая, черноволосая. Алла была моложе на год – всего семнадцать лет – крупнее сестры, белая, медлительная в движениях, с нежной, рыхловатой кожей, с сладостно-задумчивым выражением голубых глаз.

Когда мать вышла, она заговорила. Полная голая рука ее лежала на одеяле, белые пальчики едва шевелились.

– Я видела сон, Римма, – сказала она. – Представь себе – странный городок, маленький, русский, непонятный… Светло-серое небо стоит очень низко и горизонт совсем близко. Пыль на уличках тоже серая, гладкая, покойная. Все мертво, Римма. Ниоткуда ни звука, нигде ни одного человека. И вот мне кажется, что я иду по незнакомым мне переулочкам, вдоль маленьких, тихих деревянных домиков. То упираюсь в тупички, то выхожу на дорогу, из которой мне видны только десять шагов пути, и все же я иду по ней бесконечно. Впереди меня где-то вьется легкая пыль. Я подхожу ближе и вижу свадебные кареты. В одной из них Михаил с невестой. Невеста в фате, и лицо у нее счастливое. Я иду рядом с каретами, мне кажется, что я выше всех, и сердце у меня побаливает. Потом все замечают меня. Кареты останавливаются. Михаил подходит ко мне, берет меня за руку и медленно уводит в переулок. «Мой друг Алла, – говорит он монотонно, – все грустно, я знаю. Ничего нельзя сделать, потому что я не люблю вас». Я иду рядом с ним, сердце у меня все вздрагивает, и новые серые дорожки открываются перед нами.

Алла замолкла.

– Дурной сон, – прибавила она. – Кто знает? Может быть, потому что худо – все пойдет к лучшему и получится письмо.

– Черта с два, – ответила Римма, – раньше надо было умнее быть и не бегать на свидания. А у меня, знаешь, с мамой сегодня разговор будет… – неожиданно сказала она.

Римма встала, оделась, пошла к окну.

Весна была на Москве. Теплой сыростью блестел длинный, мрачный забор, тянувшийся на противоположной стороне почти во всю длину переулка.

У церкви, в палисаднике, трава была влажная, зеленая. Солнце мягко золотило потускневшие ризы, мелькало по темному лику иконы, поставленной на покосившемся столбике у входа в церковную ограду.

Девушки перешли в столовую. Там сидела Варвара Степановна и много и внимательно ела, поочередно пристально вглядываясь через очки в бисквитики, в кофе, в ветчину. Кофе она пила громкими и короткими глотками, а бисквиты съедала быстро, жадно, точно украдкой.

– Мама, – сурово сказала ей Римма и гордо подняла маленькое личико, – я хочу поговорить с тобой. Не надо вспыхивать. Все будет спокойно и раз навсегда. Я не могу жить с тобой больше. Дай мне свободу.

– Пожалуйста, – спокойно ответила Варвара Степановна, поднимая на Римму бесцветные глаза. – Это за вчерашнее?

– Не за вчерашнее, а по поводу него. Я задыхаюсь здесь.

– Что же ты делать будешь?

– На курсы пойду, изучу стенографию, теперь спрос…

– Теперь стенографистками хоть пруд пруди. Ухватятся за тебя…

– Я не прибегну к тебе, мама, – визгливо проговорила Римма, – я не прибегну к тебе. Дай мне свободу.

– Пожалуйста, – еще раз сказала Варвара Степановна, – я не задерживаю.

– И паспорт дай мне.

– Паспорта я не дам.

Разговор был неожиданно тихий. Теперь Римма почувствовала, что из-за паспорта можно раскричаться.

– Это мне нравится, – саркастически захохотала она, – где же меня пропишут без паспорта?

– Паспорта я не дам.

– Я на содержание пойду, – истерически закричала Римма, – я жандарму отдамся…

– Кто тебя возьмет? – Варвара Степановна критически осмотрела дрожащую фигурку и пылающее лицо дочери. – Не найдет жандарм получше…

– Я на Тверскую пойду, – кричала Римма, – я к старику пойду. Я не хочу жить с ней, с этой дурой, дурой, дурой…

– Ах, вот как ты с матерью разговариваешь, – с достоинством поднялась Варвара Степановна, – в доме нужда, все разваливается, недостаток, я хочу забыться, а ты… Папа это будет знать…

– Я сама напишу на Камчатку, – в исступлении прокричала Римма, – я получу у папки паспорт…

Варвара Степановна вышла. Маленькая и взъе- рошенная Римма возбужденно шагала по комнате. Отдельные гневные фразы из будущего письма к отцу носились в ее мозгу.

«Милый папка! – напишет она, – у тебя свои дела, я знаю, но я должна все сказать тебе… Оставим на маминой совести утверждение, будто Стасик спал на моей груди. Он спал на вышитой подушечке, но центр тяжести в другом. Мама твоя жена, ты будешь пристрастен, но дома я не могу оставаться, она тяжелый человек… Если хочешь, я приеду к тебе на Камчатку, но паспорт мне нужен, папка…»

Римма шагала, а Алла сидела на диване и смотрела на сестру. Тихие и грустные мысли ложились ей на душу.

«Римма суетится, – думала она, – а я несчастна. Все тяжело, все непонятно…»

Она пошла к себе в комнату и легла. Мимо нее прошла Варвара Степановна в корсете, густо и наив- но напудренная, красная, растерянная и жалкая.

– Я вспомнила, – сказала она, – Растохины съезжают сегодня. Надо отдать 60 рублей. Грозятся в суд подать. На шкапчике яйца лежат. Завари себе, а я схожу в ломбард.

Когда часов в шесть вечера Мархоцкий пришел с лекций домой, он застал в передней упакованные чемоданы. Из комнаты Растохиных доносился шум: очевидно, ссорились. Там же, в передней, Варвара Степановна как-то молниеносно и с отчаянной решимостью одолжила у него 10 рублей. Только очутившись в своей комнате, Мархоцкий рассудил, что сделал глупость.

Комната Мархоцкого отличалась от прочих помещений в квартире Варвары Степановны. Она была чисто убрана, уставлена безделушками и увешана коврами. На столах в порядке были разложены принадлежности для черчения, щегольские трубки, английский табак, костяные белые ножи для разрезывания бумаги.

Станислав не успел еще переодеться в свой домашний костюм, когда в комнату тихо вошла Римма. Прием она встретила сухой.

– Ты сердишься, Стасик? – спросила девушка.

– Я не сержусь, – ответил поляк, – я попросил бы только избавить меня от необходимости быть свидетелем эксцессов вашей матери.

– Скоро все кончится, – сказала Римма, – скоро я буду свободна, Стасик…

Она села рядом с ним на диванчик и обняла его.

– Я мужчина, – начал тогда Стасик, – это платоническое прозябание не для меня, у меня карьера впереди…

Он раздраженно говорил те слова, с которыми обычно, в конце концов, обращаются к некоторым женщинам. Говорить с ними не о чем, нежничать с ними скучно, а переходить к существенному они не хотят.

Стасик говорил, что его снедает желание; это мешает ему работать, вселяет беспокойство; надо кончить в ту или иную сторону; каково будет решение – ему почти все равно, лишь бы решение.

– Отчего сейчас же эти слова? – задумчиво промолвила Римма, – отчего сейчас же «я мужчина» и что-то «надо кончить», отчего такое злое и холодное лицо? Неужели нельзя говорить ни о чем другом? Ведь это тяжело, Стасик. На улице весна, так красиво, а мы злимся…

Стасик не ответил. Оба молчали.

У горизонта потухал пламенный закат, заливая алым блеском далекое небо. С другого конца его нависала легкая, медленно густевшая тьма. Комната была озарена последним румяным светом. На диване Римма все нежнее склонялась к студенту. Происходило то, что случалось у них обычно в этот прекраснейший час дня.

Станислав поцеловал девушку. Она положила голову на подушечку и закрыла глаза. Оба воспламенялись. Через несколько минут Станислав целовал ее беспрерывно и в порыве злобной, неутоленной страсти мотал по комнате худенькое и горячее тело. Он порвал ей кофточку и лиф. Римма, с запекшимися губами и с кругами под глазами, подставляла поцелуям свои губы и с искривленной, скорбной гримасой защищала девственность. В одну из этих минут кто-то постучал. Римма заметалась по комнате, прижимая к груди висевшие куски растерзанной кофточки.

Они открыли дверь не скоро. Оказалось, что к Станиславу пришел товарищ. Он проводил плохо скрытым насмешливым взглядом проскользнувшую мимо него Римму. Украдкой она пробралась к себе, переменила кофточку и постояла у холодного оконного стекла, чтобы остыть.

В ломбарде за фамильное серебро Варваре Степановне выщали всего сорок рублей. Десять рублей она одолжила у Мархоцкого, за остальными деньгами пешком бегала к Тихоновым, от Страстного на Покровку. В растерянности упустила даже из виду, что можно было поехать в трамвае.

Дома, кроме бушевавших Растохиных, ее ждал по делу помощник присяжного поверенного Мирлиц, высокий молодой человек с гнилыми корешками вместо зубов и с влажными серыми глуповатыми глазами.

Несколько времени тому назад Варвара Степановна из-за недостатка денег затеяла заложить по доверенности домик мужа на Коломне. Мирлиц принес текст закладной. Варваре Степановне казалось, что дело обстоит не совсем ладно, что следовало бы посоветоваться с кем-нибудь прежде, чем кончать дело, но слишком много всяких тревог, сказала она себе, выпало на ее долю… Бог с ними со всеми, с квартирантами, с дочерьми, с грубостями.

После делового разговора Мирлиц раскупорил принесенную им с собой бутылку крымского Мускат-Люнеля – он знал слабость Варвары Степановны. Выпили по стаканчику, готовились к повторению. Голоса зазвенели громче, мясистый нос Варвары Степановны покраснел, кости от корсета выпирали и были все наперечет. Мирлиц рассказывал что-то веселое и заливался. Римма в новой, перемененной кофточке безмолвно сидела в уголке.

После того как выпили Мускат-Люнель, Варвара Степановна и Мирлиц вышли погулять. Варвара Степановна почувствовала, что она чуть-чуть опьянела, ей было стыдно этого и в то же время было все равно, потому что слишком много тягости в жизни, Бог с ней совсем.

Вернулась Варвара Степановна раньше, чем предполагала, потому что не застала Бойко, к которым ходила в гости. Вернувшись, была поражена тишиной, господствовавшей в квартире. Обыкновенно в это время дурачились со студентами, хохо- тали, бегали. Только из ванной комнаты доносилась возня. Варвара Степановна пошла в кухню, через оконце которой можно было видеть, что делается в ванной…

Она подошла к окошку и увидела необыкновенную, странную картину, увидела вот что:

Печка, в которой нагревают воду, была накалена докрасна. Ванна была наполнена кипящей водой. У печки на коленях стояла Римма. В руках ее были щипцы для завивания волос. Она накаливала их на огне. У ванны стояла Алла, нагая. Длинные косы ее были распущены. Из глаз катились слезы.

– Подойди сюда, – сказала она Римме. – Послушай, может быть, бьется…

Римма приложила голову к ее чуть вздутому, нежному животу.

– Не бьется, – ответила она. – Все равно. Сомневаться нельзя.

– Я умру, – прошептала Алла. – Вода обожжет меня. Я не выдержу. Не надо щипцов. Ты не знаешь, как делается.

– Все так делают, – проговорила Римма. – Не хнычь, Алла. Не рожать же тебе.

Алла собралась уж сесть в ванну, но не успела, потому что в эту минуту прозвучал незабываемый, тихий хрипловатый голос матери:

– Что вы делаете, дети?

Часа через два Алла, укутанная, обласканная и оплаканная, лежала в широкой кровати Варвары Степановны. Она рассказала все. Ей было легко. Она казалась себе маленькой девочкой, у которой было смешное детское горе.

Римма бесшумно, безмолвно двигалась по спальне, убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сделала так, чтобы в комнате было чисто. Потом зажгла лампадку, в которую недели две уж забывали влить масла, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядом с сестрой.

Варвара Степановна сидела у стола. Ей видна была лампадка, темно-красный ровный пламень ее, тускло озарявший Деву Марию. Опьянение, как-то странно и легко, бродило еще в голове. Девочки скоро заснули. У Аллы было белое, большое и спокойное лицо. Римма приникла к ней, вздыхала во сне и вздрагивала.

Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, положила перед собой листок бумаги и написала письмо мужу:

«Милый Николай! Сегодня приходил Мирлиц, очень порядочный еврей, а завтра будет господин, который дает деньги за дом. Я думаю, что поступаю, как следует, но становлюсь все беспокойнее, потому что не полагаюсь на себя.

Я знаю – у тебя свои огорчения, служба, и не надо бы об этом писать, но дом наш, Николай, как-то не налаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче многого требует – курсы, стенографию, – девочки хотят больше свободы. Нужен отец, накричать, может быть, нужно, но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это была ошибка – твой отъезд на Камчатку. Будь ты здесь, мы переехали бы в Староколенный, там очень светлая квартирка сдается.

Римма похудела и дурно выглядит. Целый месяц брали в молочной, напротив, сливки, дети очень поправились, но теперь перестали брать. Печень моя то дает себя чувствовать, то не болит. Пиши чаще. После твоих писем я остерегаюсь, не ем селедок, и печень не тревожит. Приезжай, Коля, мы бы отдохнули. Дети кланяются. Целую тебя крепко. Твоя Варя».

Публичная библиотека

То, что это царство книги, чувствуется сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни и сами как бы сделались лишь отражением живых, настоящих людей.

Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, не брюнеты и не блондины, а так – нечто среднее.

Дома они, может быть, под воскресенье пьют денатурат и долго бьют жену, но в библиотеке характер их не шумлив, неприметен и завуалированно-сумрачен.

Есть и такой служитель: рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что «Николай Сергеевич мои рисунки одобрили и Константин Васильевич также одобрили, первоначальное я произошел, но куда податься, между прочим, совсем неизвестно».

Толстый человек слушает. Он репортер, женат, обжорлив и заработался. Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать – читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался.

Репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том – вот ведь как поступить с таким человеком? Дать гривенник, когда уйдешь, – может обидеться: художник; не дать – тоже может обидеться: все-таки служитель.

В читальном зале – служащие повыше: библио- текари. Одни из них – «замечательные» – обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком: у этого пальцы скрючены, у того съехала набок голова и так и осталась. Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру неизвестная.

Хорошо бы их описал Гоголь!

У библиотекарей «незамечательных» – начинающаяся нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет, говорят привычным шепотом; вообще, испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть.

Публика теперь, во время войны, изменилась. Меньше студентов. Совсем мало студентов. В кои- то веки увидишь студента, безбольно погибающего в уголку. Это – «белобилетник». Он в пенсне или деликатно подхрамывает. Есть, впрочем, еще государственники. Государственник – это человек рыхловатый, с обвисающими усами, уставший от жизни и большой созерцатель: что-то почитает, о чем-то подумает, посмотрит на узоры ламп и поникнет к книге. Ему надо кончать университет, надо идти в солдаты, а в общем, зачем торопиться? Успеется.

Прежний студент вернулся в библиотеку в обличье раненого офицера, с черной повязкой. Рана его заживает. Он молод и румян. Пообедал, прошелся по Невскому. На Невском уже огни. Совершает победное шествие Вечерняя Биржевка. У Елисеева выставлен виноград в просе. В гости еще рано. Офицер идет по старой памяти в Публичку, вытягивает под столом, за которым сидит, длинные ноги и читает «Аполлон». Скучновато. Напротив сидит курсистка. Учит анатомию и срисовывает желудок в тетрадочку. Происхождения она приблизительно калужского – широколица, ширококостна, румяна, добросовестна и вынослива. Если у нее есть возлюбленный, то это лучшее разрешение вопроса – добротный материал для любви.

Возле нее живописное tableau[3] – неизменная принадлежность каждой Публичной Библиотеки в Российской Империи – спит еврей. Он изможден. Волос его пламенно черен. Щеки впали. Лоб в шишках; рот полуоткрыт. Он посапывает. Откуда он – неизвестно. Есть ли право

[3] Картина (*фр.*).

на жительство – неизвестно. Читает каждый день. Спит тоже каждый день. На лице ужасная неистребимая усталость и почти безумие. Мученик книги, особенный, еврейский, неугасимый мученик.

Вблизи стойки библиотекарей с выдающимся интересом читает большая женщина в серой кофте и с широкой грудной клеткой. Она из тех, кто говорит в библиотеке неожиданно громко, откровенно и восторженно удивляется книжным словесам и, исполненная восхищения, заговаривает с соседями. Читает она вот почему – ищет способ домашнего приготовления мыла. Лет ей приблизительно 45. Нормальна ли она? Этим вопросом задаются многие.

Есть еще один постоянный посетитель – жиденький полковник в просторном кителе, в широких штанах и в очень хорошо вычищенных сапожках. Ножки у него маленькие. Усы – цвета пепла сигары. Мажет их фиксатуаром, отчего получается гамма темно-серых цветов. Во дни оны был настолько бездарен, что не мог дослужиться до полковника, чтобы выйти в отставку генерал-майором. Будучи в отставке, весьма надоедал садовнику, прислуге и внуку. 73-х лет от роду проникся мыслью написать историю своего полка.

Пишет. Обложен тремя пудами материалов. Любим библиотекарями. Здоровается с ними с отменной вежливостью. Домашним больше не надоедает. Прислуга с удовольствием доводит сапожки до предельного блеска.

Много еще бывает в Публичке всяческого народу. Всех не опишешь. Вот столь измызганный субъект, что ему под стать только писать роскошную монографию о балете. Физиономия – трагическое издание лица Гауптмана, корпус – незначителен.

Есть, конечно, чиновники, вонзающиеся в груды «Русского Инвалида» и «Правительственного Вестника». Есть провинциальные юноши, во время чтения пламенеющие.

Вечер. В зале полумрак. У столов неподвижные фигуры – собрание усталости, любознательности, честолюбия…

За широкими окнами вьется мягкий снег. Недалеко – на Невском – кипит жизнь. Далеко – на Карпатах – льется кровь.

C'est la vie[4].

[4] Такова жизнь *(фр.)*.

Девять

Их девять человек. Все они ждут приема у редактора. Первым входит в кабинет широкоплечий молодой человек, обладающий громким голосом и ярким галстуком. Представляется. Фамилия его – Сардаров. Профессия – куплетист. Просьба – издать куплеты. Есть предисловие, составленное знаменитым поэтом. Если нужно – может быть и послесловие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.